

ЛИТЕРАТУРА ТРАГИЧЕСКОГО ВЕКА В ИСТОРИИ РОССИИ

(XIII СТОЛЕТИЕ)

Под 1224 годом галицкий летописец записал: «Приде неслыханая рать: безбожнии моавитяне, рекомыи татарове...» Новгородский летописец пишет о том же: «...приидоша языци (народы.— Д. Л.) незнаеме, и ихъ же добре никто же ясно вестъ, кто суть и отколе изидоша, и что язык их (что они за народ.— Д. Л.), и коего племени суть, и что вера их; и зовут их татары, а инии глаголють таурмене, друзии же печенезе...»

И в самом деле, те, кого русские летописи и в первые, и в последующие века называют татарами, не были какою-то определенной и единой национальностью. Это было государственное объединение различных кочевых племен, находившихся в стадии кочевого феодализма, объединение крайне агрессивное и подвижное, сплоченное столь же сильной жаждой захвата новых земель, как и стремлением к разрушению соседних оседлых культур.

Объединенные орды кочевых племен, которые мы в дальнейшем будем условно называть монголо-татарами, начали проявлять необычайную активность еще в начале XIII века. Их появлению в 1223—1224 годах на границах Русской земли предшествовали чрезвычайные военные успехи в Азии.

В 1207 году монголо-татары покорили Южную Сибирь, в 1211 году — Китай, затем Туркестан, Афганистан, Персию. Крупнейшие культурные очаги Средней Азии — Самарканд, Бухара, Мерв — лежали в развалинах. В 1221—1223 годах полчища монголо-татар захватили Кавказ и Закавказье и появились на границах Руси, победили русских в 1223 году в битве на Калке, а затем ушли. Однако в 1236 году они переправились через Яик, покорили Волжскую Болгарию и снова пришли на Русь, взяли Владимир и другие города, а в 1240 году

овладели Киевом. На западных рубежах Руси русские вынуждены были отражать нападения шведов, ливонских и тевтонских рыцарей.

Монголо-татарское нашествие, перешедшее затем в страшное иноземное иго, когда, по словам летописца, «и хлеб во уста не идешеть от страха», принесло жесточайший урон русской культуре и изменило развитие литературы. С середины XIII века основными жанрами русской литературы стали воинские повести, жития мучеников за веру, проповеди, призывавшие к нравственному очищению как залого будущего освобождения. Монументализм литературного стиля, столь характерный для предшествующего периода, отныне приобретает более сдержанный, суровый и лаконичный характер.

Драматичность ситуаций, о которых повествуют литературные произведения середины и второй половины XIII века, усиливается сознанием собственной вины русских, приведшей к установлению ига: недостаток единства среди князей и недостаток твердости в сопротивлении чужеземным захватчикам.

В сущности, эти две темы присутствуют уже в неясных предчувствиях грядущей опасности, которыми была пронизана русская литература в первой трети XIII века — накануне монголо-татарского нашествия.

Русские авторы уже в XII и начале XIII века ясно понимали, что рядом с разрываемой княжескими усобицами Русью стоит наготове ее внешний враг — степные народы. Вот почему каждая из княжеских распрей заставляла русских писателей тревожиться за целостность и независимость Русской земли. Брагоубийственные войны князей были опасны не только сами по себе, но были чреваты также резким внешним ослаблением страны. Наизиданием русским князьям кончается «Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 году», написанная кем-то из русских — очевидцев этих событий: «И тако погыбе царство богохранимаго Костянтинаграда и земля гръчьская въ свадѣ цесаревъ, ею же обладают фрязи». Иными словами, даже царство богохранимого Константинаграда — Византия — погибло от свары князей. Междоусобия «князей-цесарей» представлялись несчастьем мирового порядка.

В Лаврентьевской летописи под 1227 годом мы находим обличения в «мздоимании», «граблении», «насилиях»: «Горѣ град Володимеръ и церкви згоре 27 и дворъ блаженаго князя Костянтина и церкы згоре ту сущия святаго Михаила, юже бе украсилъ христолюбивый князь Костянтинъ. Се же наводит на ны богъ, веля нам имети покаянье и встягнутися от грех, от блуда, и зависти, и грабленья, и насилья, и от прочих злых делъ неприязнинъ. Богъ бо казнит рабы своя

напастьми различными, огнем, водою, ратью, смертью напрасною, тако бо и подобает христьяном многими напастьми и скорбьми внити в царство небесное...»

В 1218 году, меньше чем за двадцать лет до Батыева нашествия, рязанский князь Глеб Владимирович и его брат Константин пригласили к себе князей — своих ближайших родственников. Приехал родной брат Олега и Константина Изяслав Владимирович, приехали пять их двоюродных братьев со своими боярами и дворянами. Пир был летом, устроен он был за городом, в большом шатре. В разгар веселого пира Глеб и Константин обнажили мечи и вместе с заранее скрытыми у шатра половцами и воинами бросились на братьев и перебили их всех. Рязанский летописец князя Ингваря Ингоровича, описав этот пир, так обращается к этим самым рязанским князьям: «Что прия Каинъ от бога, убивъ Авеля, брата своего <...> или вашъ сродникъ оканьный Святопълкъ, избивъ братью свою?»

Обличение этого страшного злодеяния было опять-таки как бы освещено предчувствием страшной катастрофы Батыева нашествия. Рассказчик замечает про рязанского князя Ингваря: «Ингворъ же не приспе приехати к нимъ: не бе бо приспело время его». Когда же оно «приспело»?! Это время явилось с нашествием Батыя. Следовательно, писалась эта летописная повесть о сваре рязанских князей уже после национальной катастрофы.

Перу того же рязанского летописца, который описал преступление Глеба и Константина, принадлежит и первый летописный вариант «Повести о разорении Рязани Батыем» в 1237 году. Тот же рязанский летописец, что описал усобицы, описал и гибель старой могущественной Рязани под ударами войск Батыя... Рассказ этот, принадлежащий рязанцу, читается сейчас в Новгородской первой летописи. Он был первым вариантом той замечательной «Повести о разорении Рязани Батыем», которая представляет сейчас одно из лучших произведений древней русской литературы и о которой мы будем еще говорить в дальнейшем.

Есть принципиальное различие между нашествиями половцев и нашествием Батыя. Половцев и орды Батыя не следует смешивать и рассматривать как явление одного и того же порядка. Половцы выступали то как враги, то как союзники и родичи русских князей (впрочем, только по женской линии: русские князья женились на половчанках, но русские княжны не выходили замуж за половецких ханов). В какой-то относительной мере половцы были вовлечены в круговорот княжеских распрей, становились их «внутренними участниками».

Появление орд Чингисхана, а затем Батые было явлением совсем другого характера. Это был враг куда более страшный, чем половцы. Не случайно, что испуганные половцы в первый момент бросились к русским князьям за помощью. Они имели основание надеяться на эту помощь и не ошиблись. Русские вышли на помощь своим врагам и союзникам одновременно, так как понимали различие между половцами и монголо-татарами.

Последствия нашествия монголо-татарских орд для русской культуры были в полном смысле катастрофическими. Исчезли целые разделы ремесел, ибо монголо-татары уводили в плен прежде всего ремесленников. Исчезли города, подобно старой Рязани, и возрождать их пришлось уже на других местах.

В литературе произошло почти то же, что произошло во всей русской культуре в целом. Рукописи сгорали вместе с городами и монастырями. Многие произведения домонгольской поры исчезли совершенно (даже житие основателя Киево-Печерского монастыря Антония не сохранилось). Литература сжалась тематически, сжалась в своем трагическом и эмоциональном единстве. И это сжатие не было признаком ее ослабления. Так могло только казаться. Накопленный за предшествующие века литературный опыт не пропал даром. Мы увидим в последующем, какую огромную роль он сослужил. Он сослужил ее в пору возрождения русской культуры — непосредственно перед Куликовской битвой, когда Русь готовилась к решительной борьбе за свою независимость, и после Куликовской битвы, когда Русь испытала на себе веяния Предвозрождения. Это было как бы сжатием силы. Литература накапливала силы. Почти столетие она находилась в этом состоянии внутреннего титанического напряжения. В чем состояло это напряжение — и надлежит нам сейчас рассмотреть. Увидеть его далеко не просто.

Единство русской литературы на всем пространстве Руси от Новгорода на север до Киева на юге и от Владимира и Ростова на северо-востоке до Галича и Волыни на юго-западе сказалось особенно отчетливо в повестях о нашествии монголо-татар, и прежде всего — в уже упоминавшихся нами в начале этой статьи повестях о Калкской битве 1223 года.

В Новгородской первой и в Лаврентьевской летописях сохранилась одна из таких повестей, и замечательно, что монголо-татары рассматриваются в ней как общие враги всех дотоле известных русским восточных народов — половцев, ясов, обезов (грузин), касогов. Жестокость нового врага подчеркивается рассказом о том, как связанных князей удавили, уложив под доски, на которые сами татары сели обедать, чтобы

изобразить тем самым свое полное равнодушие к страданиям врагов.

Другой рассказ о Калкской битве читается в Ипатьевской летописи в составе «Жизнеописания Даниила Галицкого» и подчеркивает мужественное поведение Даниила, не чувявшего на себе ран в битве.

Более поздний рассказ о Калкской битве в Новгородской четвертой летописи делает ее участниками богатыря Александра Поповича и других «богатырь 70», убитых в битве.

Повести о Калкской битве объясняют поражение русских «недоумением» русских князей, действовавших несогласованно и эгоистично. Одним из главных виновников поражения автор повести считает киевского князя Мстислава, который не помог другим русским князьям, когда обратившиеся в бегство половцы «потыпташа бежаще станы русскихъ князь».

Во всех повестях о Калкской битве говорится о том, что поражение русских явилось следствием недостатка единства русских князей, и свидетельствуется появление врагов «из невести». Последнее не менее важно, чем первое. С точки зрения книжных людей Древней Руси, враждебность таинственна и непонятна. Враги находят на Русь из «страны незнаемой». Напротив того, мир добрый — это мир, хорошо известный, мир упорядоченного строя, мир законного престолонаследия и взаимной уступчивости князей.

Поэтому междоусобицы князей сами являются следствием отсутствия порядка в общественной жизни и открывают ворота на Русскую землю неведомым народам. Вражда князей — предвестие враждебного завоевания, само же враждебное вторжение неведомых народов — вестник конца мира.

Одержав победу над соединенными силами половцев и русских, монголо-татары, как мы уже говорили, удалились и вновь появились под предводительством хана Батыя в 1237 году. Это второе пришествие неведомых и жестоких врагов было куда более ужасно.

В первом из княжеств, подвергшемся страшному разгрому ордами Батыя, было создано и наиболее значительное произведение об этом нашествии — цикл повестей, связанных с иконой Николы, находившейся в момент нашествия в небольшом рязанском городе Заразске (с XVII в. Зарайске).

Нашествие Батыя застигло Рязанское княжество в тот момент, когда, казалось бы, приумолкли усобицы рязанских князей, когда сгладились и отношения Рязани с соседним Владимирским княжеством. На рязанском столе сидел Юрий Ингореич, шесть лет пробывший в заключении во Владимире при Всеволоде Юрьевиче, но уже давно отпущенный его сыном

Юрием Всеволодовичем. Он был чист от обвинений в интригах против своих же младших рязанских князей и ничем не нарушил за последние годы добрых отношений с соседним Владимирским княжеством. Но ни владимирские, ни черниговские князья не пришли ему на помощь, когда войска Батия подошли к пределам Руси и вторглись в Рязанское княжество. Положение на Руси было почти то же, что и при авторе «Слова о полку Игореве», с тем только различием, что теперь последствия разъединения оказались во сто крат тяжелее. Сильнейший князь северо-восточной Руси — Юрий Всеволодович Владимирский, сын того самого великого князя владимирского Всеволода, обращаясь к которому за помощью, автор «Слова о полку Игореве» писал, что он может «Волгу веслы раскропити, а Донъ шелома выльяти», не внял мольбам рязанских князей, не пошел им на помощь.

Монголо-татары страшной лавиной прошли по Руси, и не к кому было уже обращаться с укорами и призывами к прекращению усобиц. Эти призывы вновь раздались позже, спустя полтора столетия. И тогда вновь зазвучала публицистическая лирика «Слова о полку Игореве» в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище». Теперь же на разоренной Рязанской земле создан цикл произведений, в котором упреки князьям за их «недоумение» (неразумие) были умерены похвалой им и всему прошлому Рязанской земли, а публицистическая направленность повествования смешалась с плачем о погибших. Но никогда до того ни одно произведение не было исполнено такой веры в моральную силу русских бойцов, в их удаль, отвагу, стойкость и преданность родине, как тот единственный цикл, который сохранился от всей, очевидно немалой, рязанской литературы. Созданный на пепелище, он сохранил тем не менее тот великолепный «пошиб» письма и точность стилистического чекана, по которым опознается не только личная одаренность, но и принадлежность целой группы авторов, работавшей над его созданием, к высокой школе мастерства.

Речь идет о своеобразном своде различных произведений, составлявшемся и разновременно пополнявшемся в течение нескольких веков при церкви Николы в Заразске. Здесь, в составе этого свода, многократно переписывавшегося и расходившегося по всей Руси во множестве списков, читаются «Повесть о иконе Николы Заразского», родословие служителей Николы, из поколения в поколение, вплоть до XVII века, отправлявших церковные службы в заразской церкви Николы, знаменитая «Повесть о разорении Рязани Батыем» — одно из лучших произведений древнерусской литературы, «Пох-

вала роду рязанских князей» и «Коломенское чудо» — рассказ о чуде от иконы Николы, произошедшем значительно позднее — в 1522—1531 годы.

В основе первой повести лежит распространенный сюжет о чудесном переходе христианской святыни из одной страны в другую в результате угрозы завоевания или божественного покровительства новому местопребыванию именно этой святыни. Древнейший обзор такого рода сюжетов о переносе святыни принадлежит автору одной из переработок Рязанского свода в первой половине XVII века. Называется этот обзор: «О таковых же преславных чудесах и знаменнии и прехождении от места на место, от страны во страну и от града во град в божественном писании в различных повестях много о святых иконах повествуют...» Давая затем едва ли не самый полный список всех повестей на тот же сюжет — перенесения святынь с места на место, — автор этой статьи рассматривает повесть как пример традиционного жизненного положения: так, по его мнению, всегда бывает перед «казнию божиею».

В повести о перенесении иконы Николы из Корсуни в Рязанскую землю больше жизненной, исторической правды, чем может показаться с первого взгляда. В форму «чуда» в ней облечено жизненно реальное, историческое содержание. И далеко не случайными оказываются в ней многие детали.

Почему же, в самом деле, так настойчиво «гнал» Никола своего слугителя со своею иконою из Корсуни, почему выбрал для своего нового местопребывания именно Рязань? Гнал слугителя, конечно, не Никола, — гнали половцы, пришедшие в движение после Калкского поражения, вспугнутые монголо-татарами, наполнившими причерноморские степи и отрезавшими Корсунь от Руси. Никола «запрещает» своему слугителю идти через опасные половецкие степи и указывает ему путь вокруг Европы через Рижский залив, Кесь и Новгород на Рязань. Рязанское княжество не случайно также было выбрано для нового места пребывания иконы Николы. Русское население на берегах Черного моря издавна было связано с Черниговским и Рязанским княжествами. Тесные связи Рязани с Причерноморьем определялись вхождением Чернигова и Муромо-Рязанской земли в единое владение Святослава Ярославича. Правнук Святослава Ярославича новгород-северский князь Игорь Святославич в своем знаменитом неудачном походе на половцев ставил себе целью достигнуть далекой Тмуторокани на Таманском полуострове. Русское население было довольно обильным и в Тмуторокани и в Корсуни еще в XIII веке. Впрочем, в первой половине XIII века эти древние связи настолько

ослабели, что служитель иконы, отказываясь выполнять требование Николы идти в Рязанскую землю, мог сослаться на свое незнание этой земли.

Вторая повесть Рязанского свода — о разорении Рязани Батыем — и наиболее значительна по размерам, и наиболее ценна в литературном отношении. Это типичная воинская повесть — одно из лучших произведений древней русской литературы. В ней нет открытого вымысла, но есть уже художественное обобщение, приведшее к некоторому искажению исторических событий — искажению, которое было вызвано тем, что в народной памяти ко времени написания повести сложились уже свои представления о гибели независимости Руси.

Когда, явившись на пограничную со степью реку Воронеж, Батый прислал к рязанским князьям «послов бездельных» с требованием уплатить «во всем десятину», рязанский князь Юрий Ингорович созывает на совещание князей Рязанской земли. В этом совещании, по повести, принимают участие живые и мертвые... Многих из созываемых Юрием князей к 1237 году уже не было в живых: Давыд Муромский умер в 1228 году, Всеволод Пронский — отец Кир Михаила Пронского, упоминаемого в дальнейшем, — умер еще раньше, в 1208 году. Созывает Юрий и Олега Красного, и Глеба Коломенского (последний, впрочем, упоминается не во всех списках и по летописи не известен). Родственные отношения всех этих князей эпически сближены, все они сделаны братьями. В последовавшей затем битве все эти князья гибнут, хотя об Олеге Красном (на самом деле не брате, а племяннике Юрия) известно, что он пробыл в плену у Батыя до 1252 года и умер в 1258 году. Это соединение всех рязанских князей — живых и мертвых — в единое братское войско, затем гибнущее в битве с Батыем, вызывает в памяти эпические предания о гибели богатырей на Калке, записанные в поздних летописях XV—XVI веков. Там также были соединены «храбры» разных времен и разных князей (Добрыня — современник Владимира I и Александр Попович — современник Липицкой битвы 1212 г.). И здесь и там перед нами, следовательно, результат общего им обоим эпического осмысления Батыева погрома как общей круговой чаши для всех русских «храбров». Образ общей смертной чаши много раз как рефрен настойчиво повторяется в повести. О смертной чаше, испить которую пришел перед битвой черед князьям и дружине, говорят перед боем князья; он развивается в образ боя-пира; им подчеркивается равенство всех: «...и не оста во граде ни единъ живых,— говорится о Рязани,— вси равно

умроша и едину чашу смертную пиша. Несть бо ту ни стояща, ни плачуща. И ни отцу и матери о чадах, или чадом о отци и матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, но вси вкупе мертви лежаща».

Круговая общая чаша смерти для тех, кто не признавал равенства в политической жизни, кто стремился к обособлению и междоусобной вражде, — такова доля русских князей. Согласно воззрениям Древней Руси за «неустройство сущих властей» страдает весь народ: «...отья господь у нас силу, а недоумение и грозу и страх и трепет вложи в нас за грехы наша» — такова основная мысль исторической литературы XIII века.

Чинное, неторопливое и одновременно лаконичное изложение событий в «Повести о разорении Рязани Батыем» исполнено сознанием значительности всего совершающегося. Детали интересуют автора только в тех случаях, когда они о чем-то свидетельствуют. Во всем остальном динамичность повествования лишена суетного внимания к мелочам. Монументальность повести производит тем большее впечатление, что сама повесть относительно невелика. Все рассказываемое в ней «объемно», события крупны и значительны, но рассказ скуп и краток.

Создавалась повесть как свод и сама входила в еще больший по размерам свод рязанских повестей, где заняла центральное место.

В своем наикратчайшем виде повесть читается как своего рода выдержка из рязанского летописания Ингваря Ингореви-ча, попавшая в Новгородскую первую летопись XIII века. Мы уже об этом говорили выше. Затем она стала обра-стать легендами по мере того, как детали событий утрачивались в памяти. Уже в XIV веке повесть была дополнена словами плача Ингваря Ингореви-ча, а в XV веке в повесть была включена замечательная историческая песнь о Евпатии Коловрате. Сама повесть дошла до нас во многих списках, из которых древнейший — не ранее конца XV века. Но движение повести можно проследить по отражениям ее в различных московских исторических повестях — о нашествии Тохтамыша, в «Слове о Дмитрии Ивановиче Донском», в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище».

Однако публицистическая нота в «Повести о разорении Рязани Батыем» выражена значительно слабее, чем, скажем, в «Слове о полку Игореве». Автор «Слова» имел возможность обращаться к живым князьям — своим современникам, он звал их к единению перед угрозой грядущей опасности утраты независимости Руси. Автор же «Повести о разорении Рязани» стоял уже перед лицом совершившегося.

Он обращался к мертвым князьям, уже испившим общую чашу и тем как бы искупившим своею кровью, пролитой за Русскую землю, преступления усобиц. И это различие особенно отчетливо выступает в «Похвале роду рязанских князей».

С точки зрения литературной отделки, тонкости литературного рисунка — «Похвала» эта своего рода образцовое произведение, «шедевр», какой средневековые ремесленники обязаны были выполнить перед вступлением в цех для доказательства своего мастерства. Ее сжатость, отточенность формулировок, ритм синтаксических оборотов, напоминающий повторяемость орнаментальных мотивов, позволяет сравнивать ее с произведениями столь развитого на Рязани ювелирного искусства. Стилистическая выделка этой краткой «Похвалы» доведена до медальонной чеканности. Только при внимательном наблюдении можно заметить некоторые швы и спайки, допущенные в этом поразительном по законченности групповом портрете рязанских князей: «плоти угодие не творяще», но и «на пированье тщивы», «взором грозны», но и «сердцем легкы».

И вместе с тем, несмотря на всю идеализированность и обобщенность этого группового портрета, мы узнаем в нем все же именно рязанских князей. «К бояром ласковы», «до господарских потех охочи», «на пирование тщивы»: так писать нельзя было, скажем, о князьях владимирских, упорно и сурово боровшихся со своим боярством. Напротив, беспокойные, своевольные и «резвые» на походы, потехи и пиры (и скорые на кровопролитие — именно на этих пирах), — рязанские князья как нельзя более подходили к этим чертам их характеристики. Не случайно автор «Похвалы» фантастически и неправильно возводит их происхождение к Святославу Ольговичу Черниговскому. «Хороброе Ольгово гнездо» черниговских князей имело много общих черт с гнездом князей рязанских.

Этот идеализированный портрет рязанских князей мог создаться только в такую эпоху, когда ушла в прошлое и была смыта кровью, пролитой за родину, память о многих преступлениях одной из самых беспокойных, воинственных и непокорных ветвей рода Владимира Святославича Киевского.

Вот почему, прочтя эту «Похвалу» роду рязанских князей, мы тут только начинаем понимать всю святость для ее автора земли-родины, которая, впитав в себя пролитую за нее кровь храбрых, хотя и безрассудных, рязанских князей, так начисто смогла их освободить от всех возможных укоров за ужасы феодальных раздоров. Мы живо чувствуем в этой «Похвале» роду рязанских князей тоску ее автора по былой независимости родины, по ее былой

славе и могуществу. Эта «Похвала» роду рязанских князей обращена не к Олегу Владимировичу, «сроднику» знаменитого Олега Гориславича и братоубийцы Святополка Окаянного, и не к какому-либо другому из рязанских князей — она обращена к рязанским князьям как к представителям родины. Именно о ней — о родине — думает автор, о ее чести и могуществе, когда говорит о рязанских князьях, что они были «к приеждим привѣтливы», «к посолником величавы», «ратным (врагам.— Д. Л.) во бранех страшения ивляшеся, многие враги, востаючи на них, побежаща, и во всех странах славна имя имяша». В этих и во многих других местах «Похвалы» рязанские князья рассматриваются как представители Русской земли, и именно ее чести, славе, силе и независимости и воздает похвалу автор. С этой точки зрения, «Похвала» близко связана — и общим настроением скорби о былой независимости родины, и общей ритмической организованностью — с другим замечательным произведением того же времени — со «Словом о погибели Русской земли».

«Слово о погибели» прославляет и оплакивает Русскую землю, какой она была до поражения русских. Это плач и слава одновременно, но в отличие от «Похвалы роду рязанских князей» оно посвящено не только русским князьям, но и всей Русской земле — ее былой красоте и богатству.

В науке существуют две точки зрения на этот поэтический памятник: согласно одной «Слово о погибели» — своеобразное введение к «Житию Александра Невского», согласно другой — это самостоятельное произведение, но, по-видимому, правы обе стороны. Мы видели, что произведения часто строились как своды других, предшествовавших произведений. «Слово о погибели» в обоих сохранившихся списках предшествует одной из редакций «Жития Александра Невского», следовательно, оно фактически служило предисловием, но было ли оно с самого начала написано как предисловие — это сомнительно. Скорее всего оно, как и «Похвала роду рязанских князей», было включено в состав того свода произведений, которыми стало обростать «Житие Александра».

Постоянные вставки в предшествующие произведения, соединение различных повестей в единый свод показывает, что историзм русской литературы этого времени вынуждал к открытой форме. Интерес к истории был так силен, что превозмогал потребность в законченности и цельности повествования. Произведение на историческую тему получало продолжение, росло вместе с развитием самой истории, как бы следовало за событиями по пятам. Как и летописи, исторические повести все время устремлялись к настоящей

му — настоящему, постоянно отодвигавшемуся и поэтому вынуждавшему переписчиков и разного рода других книжников дополнять своих предшественников собственными продолжениями. Даже даты, которые имеются в «Повести о разорении Рязани Батыем» и в предшествующей ей «Повести о перенесении иконы Николы в Рязанские пределы», показывают тяготение литературы XIII века к летописной форме. Летопись стала ведущим жанром. Летопись не только сохраняла память о прошлом, но служила самосознанию настоящего. Историческое повествование становилось общенародным делом, способствуя динамизации стиля монументального историзма, который был так характерен для древней русской литературы особенно в первые века ее существования.

Киевское и владимирское летописание прекратилось, ибо в развалинах лежали и самые города, зато два центра летописания развивались особенно усиленно — это Новгород и Ростов. Первый взял на себя главные трудности в защите северо-западных границ, второй в XIII веке возглавлял внутреннее сопротивление чужеземным захватчикам и стал центром первого против них восстания 1262 года.

Замечательная повесть о взятии Владимира войсками Батыя, читающаяся сейчас в Лаврентьевской летописи, была составлена, по предположениям А. Н. Насонова, именно в Ростове, хотя главным героем ее сделан владимирский князь Юрий Всеволодович.

Повесть не первоначальна, она составлена по различным источникам — один из которых ростовский, а другой, может быть, принадлежит перу спасшегося от гибели владимирца. Вот почему рассказ о взятии Владимира войсками Батыя читается с многочисленными дублировками, дважды гибнет князь, дважды умирает епископ. Но картина мужественной обороны и жестокого истребления населения дана в этом рассказе с потрясающей силой.

Ростовское летописание было явно связано с ростовской княгиней Марьей — вдовой погибшего в борьбе с татарами ростовского князя Василька Константиновича и дочерью замученного в 1246 году в Орде черниговского князя Михаила Всеволодовича. Вот почему ростовское летописание Марьи не носит только личный характер, связанный с ее семейными интересами, но поднимает большие общественные вопросы своего времени и приветствует восстание против монголо-татар: «Избави богъ от лютаго томленья бесурьменьскаго люди Ростовьския земля: вложи ярость въ сердца крестьяномъ, не терпяще насилья поганныхъ, изволиша вещь, и выгнаша из городовъ, из Ростова, из Володимеря, ис Суждаля, изъ Ярославля».

Движение против монголо-татар, поднятое и руководимое из Ростова, было подлинно народным. Однако нельзя не видеть, что борьба за независимость находила себе сочувствие и в княжеской среде.

Ростовский свод, составленный после того, как начались восстания, весь проникнут идеей необходимости крепко стоять за веру и независимость родины. Именно эта идея определила собой и содержание, и форму летописи. Летопись Марьи соединяет в своем составе ряд рассказов о мученической кончине русских князей, отказавшихся от всяких компромиссов со своими завоевателями. Рассказы эти резко выделяются и своим объемом, и своим стилем в ростовском летописании Марьи. Враги много «нудили» Василька Константиновича стать на их сторону, «быти въ их воле и воевати с ними», но Василько не покорился их «безаконью», остался верен родине и был убит. Так же точно остался верен родине великий князь Юрий. Монголо-татары присылали к нему послов, предлагая мир, но Юрий предпочел славную брань постыдному миру. Не поклонился огню и болванам (идолам) в ханской ставке и князь Михаил Черниговский, убитый в Орде в 1246 году. Мученически умер и рязанский князь Роман. Враги заткнули ему рот, резали по суставам; с уже мертвого князя враги содрали кожу на голове, а голову отрубили и воткнули на копье. Роман — «новый мученик», описание его кончины сопровождается горячим обращением к русским князьям следовать его примеру: «О възлюбленнии князи рускии, не прелщайтеся пустошною и прелестною славою свѣта сего, еже хужьши паучины (слабее паутины.— Д. Л.) есть и яко стѣнь (тень.— Д. Л.) мимо идти; не принесосте бо на свѣтъ сей ничто же, ниже отнести можете» и т. д. Князь Роман ставится в пример русским князьям: мученичеством он приобрел себе царство небесное вместе со «сродникомъ своимъ Михаилом (Черниговским)». Литературный образец всех этих некрологов князей-мучеников отыскивается отчасти в «Житии Бориса и Глеба». Культ этих святых братьев-мучеников широко поддерживался княгиней Марьей, назвавшей даже в честь их своих сыновей Борисом и Глебом. «Житие Бориса и Глеба» оказало влияние и на составленное при ней житие ее отца — Михаила Черниговского. Все позднейшие рассказы о князьях, замученных монголо-татарами, в той или иной степени подвергались воздействию «Жития Михаила Черниговского» и других житийно-некрологических статей летописного свода Марьи. Но вместо князя-преступника — Святополка Окаянного — в них выступают в роли мучителей чужеземные враги, и мученичество князей становится мученичеством за независимость родины.

Идея свода княгини Марьи не была идеей чисто политической. Свод был лишен ясной исторической концепции. Он ставил себе по преимуществу нравоучительную цель. Борьба с чужеземным игом воспринималась прежде всего как нравственно-религиозная. Вот почему свод княгини Марьи так легко превращался в собрание некрологов, выдвигая идеалы княжеской жизни в мученичестве за веру. Но и такая задача в условиях, когда все было полно ужасом перед чужеземными захватчиками, когда, по словам летописца, и хлеб не шел в рот от страха, имело большое значение, воспитывая стойкость и непримиримость, вселяя уверенность, что внешней силе завоевателя можно противопоставить силу духа.

Мученичество и смерть мирили народ с теми из князей, которые сопротивлялись завоевателям. Вот почему и владимирский князь Юрий (Георгий)¹ Всеволодович, погибший в битве с монголо-татарами, который далеко не был идеальным князем, подвергся идеализации в народной легенде о невидимом граде Китеже. Об отказе Юрия (Георгия) Всеволодовича прийти на помощь рязанским князьям зло говорит «Повесть о разорении Рязани Батыем»: «Князь великий Георгий Всеволодович Владимирьской сам не пошел и на помощь не послал, хотя о себе сам сотворити брань з Батыем». Кроме того, Юрий известен длительной борьбой за наследие его отца Всеволода Большое Гнездо со своими братьями — Константином и Ярославом. Замечательный исследователь русского летописания А. Н. Насонов пишет о переработанном тексте «Повести о взятии Батыем Владимира» в Лаврентьевской летописи: «Переработка делалась с целью показать читателю братское единение князей, дать образцы княжеского согласия и взаимной любви. В редакции Лаврентьевской летописи вражда, длившаяся с 1211 по 1216 г., почти полностью замалчивалась»². При этом всячески идеализировался Юрий. Так, например, Юрий и Ярослав, приехав во Владимир по смерти Константина, будто бы плакали по нем «плачем вельим, акы по отци и по брате любимем, понеже вся имеяхуть ѿ (его. — Д. Л.) въ отца место». Имелась в Лаврентьевской летописи и подробная характеристика-некролог Юрию под 1239 годом.

Идеализация князей, павших в борьбе с врагами Русской земли, не была единичной особенностью Лаврентьевской летописи. Мы видели такую же идеализацию в «Повести о разорении Рязани Батыем» и в «Похвале роду рязанских кня-

¹ «Юрий» — сокращение имени «Георгий» через ряд промежуточных форм — «Гюргий», «Гюрий».

² Насонов А. Н. История русского летописания: XI — начало XVIII века. М., 1969, с. 193.

зей». В известной мере она была даже общенародной. И это легко показать на той же истории с владимирским великим князем Юрием.

Дело в том, что героем древнейшей основы Китежской легенды сделан именно Юрий. Его гибель в неравном бою послужила основой в разное время возникавших и переделывавшихся и так или иначе отражавшихся в письменности рассказов о том, что есть такие места, куда не проникли враги и куда может попасть только чистый сердцем человек, внутренне не причастный злу и не вступивший в союз с врагами. Сделать главным героем такой легенды Юрия могла только всеобщая вера в то, что Юрий не запятнал себя ни в чем своим прежним поведением.

В том, что народные легенды о Юрии возникали очень рано и что какие-то первоначальные версии «Китежской легенды» существовали уже в XIII веке, убеждает один сравнительно короткий текст Новгородской первой летописи, древнейшая рукопись которой относится к XIII веку. Согласно этой летописи Юрий бежал в сторону Ярославля и о смерти его существуют разные рассказы: «...бог же весть како скончася: много бо глаголють о немь инии». Не приходится сомневаться, что из этих народных рассказов и выросла знаменитая Китежская легенда, согласно которой, потерпев поражение в битве на Сити, Юрий с остатками своего войска очутился в невидимом граде Китеже, войти в который могут только чистые сердцем люди, не запятнавшие себя союзом с врагом. Моральное значение этой легенды верно почувствовал в конце XIX века Н. А. Римский-Корсаков, сделав ее сюжетной основой своей оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и де-ве Февронии». Жизнь Февронии относится к совсем иной эпохе, но и в ней есть та моральная основа, которая позволила Н. А. Римскому-Корсакову и либреттисту оперы В. И. Бельскому соединить обе легенды в один музыкальный рассказ: вышедшая из крестьянской среды муромская княгиня Феврония не уступает преследованиям спесивых боярских жен и уходит из Муром, уводя с собой своего князя и оставив в Муроме все земные блага.

Представление о существовании невидимого, избегнувшего завоевания, безгрешного града, или даже целой страны, существовало во все века народного угнетения и способствовало впоследствии переработкам этих представлений в легендах о счастливом Беловодском царстве¹.

¹ Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967, с. 239—290.

По какому пути могло бы пойти развитие русской литературы в XIII веке, если бы Русь не была захвачена монголо-татарами, отчасти показывает Ипатьевская летопись — вернее, лежащие в ее основе галицко-волынские произведения XIII века.

Монголо-татарское нашествие мало отразилось на положении Юго-Западной Руси. Она сохранила некоторую самостоятельность, свободу общения с Византией и западными странами. Литературное развитие продолжалось в Галицко-Волынской Руси по предусмотренному пути. Путь этот вел к развитию личностного начала в литературе и к появлению обширного связного исторического повествования. То и другое нашло свое выражение в создании жизнеописаний галицких и волынских князей — жизнеописаний пышных, подробных и в той или иной мере светских.

Список Ипатьевской летописи относится к середине XV века. Он был переписан, как предполагал А. Н. Насонов, с летописи, составленной в Турово-Пинском княжестве на основе, с одной стороны, Киевского летописного свода, доведенного до 1200 года, а с другой — своеобразных жизнеописаний галицких и волынских князей.

Первая часть Галицко-Волынского раздела Ипатьевской летописи после 1200 года, на котором кончалась Киевская летопись Рюрика Ростиславича, может быть с полным правом названа «Жизнеописанием Даниила Галицкого». Оно носит своеобразную, не привычную для предшествующего периода форму связного биографического повествования. Замечательно, что в нем, как отметил еще Н. М. Карамзин, не было обязательной для большинства летописей хронологической канвы, дат описываемых событий. Указания «в лето 6712» или «в лето 6713» и т. д. были вставлены значительно позднее, по-видимому, самим книжником, писавшим Ипатьевский список, так как в другом списке той же Турово-Пинской летописи — Хлебниковском — даты эти отсутствуют. Сами даты, вставляемые позднейшим летописцем, не заслуживают доверия. Первая же дата Галицко-Волынских известий представляет собой неверный домысел позднейшего летописца.

В самом деле, галицко-волынское летописание, первую часть которого составляло «Жизнеописание князя Даниила Галицкого», было механически присоединено к Киевскому своду 1200 года. Последнею датою Киевского свода был 1200 год, поэтому в качестве первой даты для следующего за Киевским сводом изложения составитель Ипатьевского списка взял 1201 год, обозначив им смерть Романа Галицкого. Между тем польские источники называют иную, и при этом совершенно точную дату смерти Романа — 19 июня 1205 года.

Как можно думать на основании внимательного анализа текста, первоначальная последовательность рассказа устанавливалась исключительно связующими фразами вроде следующих: «времени же минувши», «по тех же летех» и т. д. Жизнеописатель то забегал в своем рассказе вперед, то упоминал о событиях более ранних, не разбивая свое повествование никакими хронологическими рамками.

Автор называет свое произведение хронографом, и действительно литературная манера автора теснее всего примыкает к типу византийских хронографов, связно описывавших историю царствований византийских императоров.

«Жизнеописание Даниила Галицкого» как литературное произведение целиком посвящено прославлению его и его дела. Отец Даниила — Роман — был храбрым воином. Его выразительная характеристика помещена в начале жизнеописания Даниила. Сам Даниил был «дерзъ и храборъ, от главы и до ногу его не бѣ на немъ порока». Даниил, «спешаше и тоснящеся на войну», стремился углубиться в землю врага и обогатиться полоном и добычей. Его деяния сравниваются с деяниями Святослава Храброго и Владимира Святого. Даниил был первым русским князем, повоевавшим «землю Чешскую»; никто, кроме Владимира Святого, не входил «толь глубоко» в Польскую землю. Он «измлада» не давал себе покоя в борьбе с внешними врагами Руси. Его войско одним видом вызывало удивление иноземцев. Стоит в этом отношении обратить внимание на парад русских войск, описание которого попало в Ипатьевский список под 1251 годом. Здесь описывается сбруя лошадей, светлые латы и оружие воинов, а главное — удивительный наряд самого Даниила: сапоги зеленой кожи и золотые плоские кружева, которыми был ошит его кожух из греческой кожи.

Автор жизнеописания подробно следит за деятельностью своего князя, дает развернутые картины его городского строительства, всюду подчеркивая любовь к нему населения. Жители Галича устремляются к нему, как дети к отцу, как пчелы к матке, как жаждущие воды к источнику. Подробно приводит автор жизнеописания речи Даниила, полные высокого рыцарского представления о чести воина и чести родины, многие из которых представляют собой образцы высокого ораторского искусства. Автор следит за ратными подвигами Даниила, описывает его участие в боевых схватках. Не раз обнажает меч Даниил, не раз ломает свое копье (т. е. лично начинает битву), не раз оказывается на волосок от смерти. В сражении на Калке Даниил в пылу битвы «не чуял» на себе ран, и только вода, которую он выпил, заставила его почувствовать их боль. Другой раз конь

вынес его из смертельной опасности, конец вражеского меча успел отхватить кусок шерсти на «стегне» у коня.

Как в личном летописце (автобиографии) Владимира Мономаха, жизнеописатель Даниила рассказывает не только о его ратных трудах, но ведет счет и его «трудам» на «ловех» (охотах). Автор скорбит об унижении Даниила в ханской ставке, радуется его успехам, отмечает его болезни и т. д. В тоне резкого раздражения говорит автор о врагах Даниила — боярах. Одного из них, Жирослава, он называет «льстивым», он «лукавый льстѣць», его язык «лъжею питаешься». Устами Даниила автор проклиная Жирослава в самых патетических выражениях: «Проклят ты буди, стоя и трясыся на земли... да не будетъ ему пристанѣка во всихъ земляхъ, и русскихъ и во угорьскихъ (венгерских.—Д. Л.), и ни в ких же странахъ, да ходить шатайся во странахъ, желание брашна (еды) да будетъ ему, вина же и олу поскуду да будетъ ему, и да будетъ двор его пуст и в селе его не будетъ живущаго...» Автор сатирически изображает бояр. У льстивого боярина Семьюнка лицо было красное, как у лисицы. Боярин Доброслав, когда ехал на коне, то в гордости не смотрел на землю. Малодушные изменники-бояре, которые вынуждены были сдать Галич Даниилу, выходят к нему со слезами на глазах, с ослабленными лицами, облизывая губы. Автор описывает, как подлые заговорщики, «сидя в думе» и совещаясь, как бы убить Даниила, были испуганы его братом Васильком. Молодой Василек вышел к ним и обнажил на одного из слуг «мѣчь свой играя», а у другого, играя же, вырвал щит. Заговорщики, решив, что они открыты, бежали, подобно Святополку Окаянному. Автор описывает, как бояре оскорбляли Даниила, как один из них на пиру выплеснул чашу вина ему в лицо и т. д.

Таким образом, автор жизнеописания Даниила ставил себе задачи не только прославления Даниила, но и пропаганды сильной княжеской власти и необходимости борьбы с боярством.

В отличие от владимиристо-суздальского летописания стиль жизнеописания Даниила в основном светский, в нем мало церковного. Автор жизнеописания — начитанный дружинник, скорее всего, это «печатник» князя Кирилл, ставший затем митрополитом, или кто-то из его окружения. Он пользуется песнями об отце Даниила — Романе, упоминает «песнь славному», которую пели Даниилу и Васильку при возвращении из похода на ятвягов. Отзвуки какой-то половецкой песни на тему о любви к родине содержит самое начало жизнеописания. Поэтической темой этой песни пленялись впоследствии не раз русские поэты: это песнь о степной

траве «евшан» (полыни), запах которой заставил хана Отрока вернуться на родину. К фольклору, а также отчасти к византийской хронографии восходит в жизнеописании широкое пользование эпитетами: «борзый конь», «острый меч», «светлое оружие» и многое другое.

Установленное академиком А. С. Орловым¹ влияние компилятивного хронографа на Галицкую летопись имеет важное принципиальное значение. Княжеская власть стремилась найти опору своему возрастающему значению в византийской культуре. В Галицкой Руси это византийское влияние облегчалось при Данииле еще и тем, что Галиция имела общие с Византией границы по Дунаю и издавна находилась с нею в союзных отношениях. Сильные князья стремятся подражать византийским императорам и вводят у себя придворную хронографию, отчасти сходную с византийской. В Византии был распространен обычай, по которому император назначал при жизни историографа, в обязанность которого входило составлять жизнеописание своего монарха. Император сам следил за работой такого историографа. Этот последний свободно пользовался его архивами, записывал многое с его слов и заканчивал свою работу уже после смерти императора. Но жизнеописание Даниила прервалось до его смерти в 1264 году — где-то около 1255—1256 годов. Поводом к составлению жизнеописания Даниила могло быть получение им в 1255 году от римского папы титула короля. Настойчивость, с какою восхваляется могущество Романа и Даниила, должны были утвердить законность титула «короля», даже в глазах тех, кто не признавал права папы даровать титул «короля» русским князьям.

Можно предполагать, что подобные же жизнеописания были составлены в Галицко-Волынской Руси для Владимира Васильковича, Мстислава Даниловича и Льва Даниловича. Все они читаются в Ипатьевской летописи и показывают, как утвердилась в Юго-Западной Руси новая манера исторического повествования. Особенно интересно жизнеописание Владимира Васильковича с подробным и красочным рассказом о его смерти и предсмертной политике его, завещание и заключительная похвала, в которой автор использовал слово митрополита Илариона «О Законе и Благодати», стремясь словами Илариона восхвалить его просветительную деятельность среди вновь крещеных народов.

Галицко-Волынская летопись поразительна по энергии повествования. Меньше одной страницы посвящено в ней опи-

¹ Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи. — Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР. М., 1926, т. 31, с. 93 и сл.

санию взятия Киева ордами Батыя, но что за слова отобраны, какая монументальная картина разворачивается перед нами! Кратко изложенное, описание все-таки дает яркое представление о грандиозности и трагичности происшедшего. Слова летописи приобретают былинный строй:

«Приде Батый Кыеву в силѣ тяжьцѣ многомъ множьствомъ силы своей, и окружи град и остолпи сила татарская, и бысть град во объдержаньи велицѣ. И бѣ Батый у города и отроци обсъдаху град, и не бѣ слышати от гласа скрипания телѣгъ его, множества ревения вельблудъ его, и рѣжания от гласа стадъ конь его. И бѣ исполнена земля руская ратных...»

Не менее поразителен плач летописца и всех окружающих по поводу унижения Даниила в ставке Батыя (под 1250 г.). Само это унижение описано почти как драматическая сцена с диалогом между князем и ханом, с указанием жестов и движений: «...и поклонися по обычаю ихъ, и вниде во вежю его...» Описав, как Даниил выпил «черное молоко» — «кумуз» (кумыс), летописец замечает, что на приеме у ханши Даниил пил уже присланное ему Батыем вино, и пишет: «О злѣ зла честь татарская!» И далее оплакивает унижение своего князя.

Светское «Жизнеописание Даниила Галицкого» послужило образцом для церковного «Жития Александра Невского». И именно это облегчило автору «Жития Александра Невского» задачу создания нового типа церковного жития святого-полководца. «Житие» было, по-видимому, составлено в том же кругу книжников, ибо «печатник» Даниила — Кирилл — стал митрополитом Кириллом, переехавшим на северо-восток и помогавшим Александру. Он сам, этот Кирилл, или кто-то из его окружения составил оба жизнеописания — и Даниила, и Александра. В этом убеждает множество стилистических и лексических совпадений¹. Среди других образцов для «Жития Александра» были «Александрия», «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, «Повесть о Троянском пленении», «Летописец вкратце» патриарха Никифора, «Девгениево деяние» и многое другое. Александр Невский сравнивается в житии с Александром Македонским, Ахиллесом, Девгением Акритом, императором Веспасианом, Иосифом Прекрасным, Самсоном, Давидом, Моисеем, Иисусом Навином. Его деяния и он сам вставлены в величественную раму мировой истории. Сам Александр Невский как бы сознает свою мировую роль и, отвечая папе римскому на

¹ См. подробнее: Лихачев Д. С. Галицкая литературная традиция в «Житии Александра Невского». — ТОДРЛ. М.—Л., 1947, т. 5, с. 36—56.

предложение принять его учение, отвечает: «Отъ Адама до потопа, от патопа до разделения языкъ, от размѣшенія языкъ до начяла Авраамля, от Авраама до проитиа Иисраиля сквозе море, от исхода сыновъ Иисраилевъ до умертвия Давыда царя, от начала царства Соломона до Августа и до Христова рожества, от рожества Христова до страсти и воскресения, от въскресения же его и на небеса възшества и до царства Константинова, от начала царства Константинова до перваго збора и седмаго — си вся добръ съвѣдаемъ, а от вас учения не приемлемъ».

Как и в «Повести о разорении Рязани Батыем», в «Житии Александра Невского» рассказывается о героизме простых ратников — о шести «храбрых и сильных мужах», которые совершали подвиги в битве на Неве.

Заканчивается «Житие» описанием народного горя при известии о смерти Александра. Люди рыдали так, что и «земли потрястися». Александр сравнивается с зашедшим солнцем.

Перед нами яркая вспышка того исторического и «космического» монументализма, который был так характерен для домонгольской литературы.

Заключая свой рассказ о нашествии Батыя, новгородский летописец замечает: «Усобная же рать бываетъ от сваженія дьяволя». Это не случайно. В период монголо-татарского ига особое значение приобрели церковные проповеди с моральными наставлениями пастве или отдельным лицам — по преимуществу князьям. Вражеские нашествия и стихийные бедствия (землетресения, неурожай, наводнения и т. д.) всегда считались божьим наказанием за моральные грехи людей. Одним из популярнейших произведений было «Почтение о казнях божиих» Феодосия Печерского, часто цитировавшееся в летописях XII — начала XIII века. Однако после установления монголо-татарского ига были еще и особые обстоятельства, которые придали этим церковным наставлениям особое значение. Бесправие населения и произвол чужеземных властителей вели к мрачному моральному падению многих князей: князья добывали себе благоволение угодливостью, уступчивостью чужеземной власти, доносами друг на друга. И все это стало жесточайшим бедствием в общественной жизни. Авторитет княжеской власти среди народа никогда еще не падал так низко. Церковь стремилась обуздать пороки паствы и отдельных князей, чтобы укрепить власть последних, а литература брала на себя заботы по возрождению павшего было общественного сознания. Стремление к моральному возрождению и сплочению охватило всю Русь.

Проповеди владимирского епископа Серапиона — живое свидетельство единства русской литературы на всем пространстве Русской земли от Киева на юге, Галицко-Волынской Руси на юго-западе и Владимиро-Суздальской Руси на северо-востоке. А вместе с тем его проповеди свидетельствуют об общем всей русской литературе отношении к страшным событиям иноземного нашествия и ига.

Серапион был до 1274 года архимандритом Киево-Печерского монастыря — монастыря, сыгравшего значительную роль в укреплении общерусского самосознания, самый патерик которого был составлен на основе переписки из двух крайних концов Русской земли — Поликарпа, жившего в самом Киево-Печерском монастыре, и Симона, жившего во Владимире. Серапиона взял с собой из Киева во Владимир митрополит Кирилл — бывший «печатник» галицкого князя Даниила. Самим Кириллом непосредственно или кем-то из его окружения, сопровождавшего его в переезде на север, как мы уже говорили, было составлено «Жизнеописание Даниила Галицкого», включенное впоследствии в состав Ипатьевской летописи, и написано «Житие Александра Невского» — одно из самых популярных произведений древнерусской литературы на всем протяжении ее существования. Кириллу принадлежит «Правило Кирилла, митрополита русского», представляющее собой литературное объединение постановлений церковного собора, происходившего во Владимире в 1274 году. Можно установить непосредственную близость по содержанию, по форме и языку между этим произведением и пятью сохранившимися проповедями Серапиона. Больше того, мы можем заметить живую связь между всеми произведениями русской литературы XIII века как в оценке событий и их причин, так и в правилах того, как следует держаться в новых условиях «томления и муки» чужеземной тирании.

Первое из поучений Серапиона написано им около 1230 года, то есть до катастрофы Руси, связанной с Батыевым нашествием. Оно, как и все другие произведения первой трети XIII века, полно предчувствий надвигающегося. Этим подтверждается тот неоспоримый для нас факт, что внешнее поражение Руси воспринималось как следствие ее внутреннего неблагополучия. И характерно, что самое мрачное из его поучений именно это первое, написанное им еще до того, как он увидел и испытал на себе все последствия длительного ига. Четыре других поучения с удивительной образностью и художественной энергией и лаконизмом говорят о иге и нашествии: гнев божий застиг людей «аки дождь съ небеси», пролитая кровь «аки вода многа землю напои», но тем не менее

он уверен, что, сохранив моральную чистоту и стойкость, не идя ни на какие сделки с совестью, «гнѣвъ божий престанеть (...) мы же в радости проживем в земли нашей».

Иго чужеземцев — это прямое следствие «вражды» князей между собой и безудержного использования труда простого населения — «несытства имения», «резоимства» (ростовщичества), отсутствия патриотизма и гражданской солидарности.

В отличие от знаменитого проповедника XII века Кирилла Туровского поучения Серапиона Владимирского просты по форме, доступны не только «преизлиха насытившейся» «сладости книжности» аудитории и читательской среды, которая была у киевского митрополита Илариона XI века, но самым широким слоям читателей и слушателей. Простота проповедей Серапиона не была, однако, следствием его собственной простоты и необразованности. Он знает сочинения Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого и «инѣхъ святитель святыхъ, ими же вѣра утвержена бысть». Он осведомлен в событиях на Далматинском побережье Адриатики, Польши и Литвы. Он выступает против самых грубых суеверий: против расправы с теми «жонками», которым молва приписывала порчу урожая, засуху, падеж скота, мор. Он выступает против испытания водой, которое особенно упорно было принято в Новгороде и часто вело к гибели многих ни в чем не повинных людей. Он убеждает не подвергать самосуду тех, кого толпа считала виновными в чародействе, не считать, что погребение утонувших людей или самоубийц ведет к неурожаю, и многое другое.

Его проповеди отличаются ясностью мысли, ритмической организацией речи, особой лиричностью. В них чувствуется уже приближение той эпохи, когда эмоциональность широко овладеет литературой и обращение к человеческой психологии станет характернейшим явлением не только литературы, но и изобразительного искусства.

К 1281 году относится и «Послание Иакова-чернорица к ростовскому князю Дмитрию Борисовичу». Необходимо отметить, что духовники (т. е. священники, которые исповедовали мирян и отпускали им грехи) обладали известной долей независимости. Это позволяло им не только обращаться к своим «духовным детям» с поучениями, но и разоблачать дурное поведение самих высокопоставленных лиц, а если они обнаруживали свое непослушание, то и выступать с публичными к ним упреками.

Год, в который было написано послание Иакова, был годом начавшейся борьбы между ростовскими князьями. Князь Андрей испросил себе в Орде ярлык на великое княжение и с разными «кормольниками» пошел с татарской ратью на Дмитрия

Борисовича. К татарской рати Андрея присоединились Константин Ростовский и другие. Вся земля от Мурома и до Торжка подверглась страшному опустошению: «...множество безчислено христианъ полониша, по селомъ скоть и кони и жита пограбиша, высъкающе двери у хоромовъ; и бяше великъ страхъ и трепеть на христианскомъ родѣ» (Симеоновская летопись).

Черноризец Иаков уговаривает Дмитрия Борисовича проявлять любовь к ближнему, причем указывает, что сейчас «год ратен». И действительно, ссора с братьями угрожала перейти в огромное военное столкновение: Дмитрий Борисович стал в Ростове «наряжать полки» и «город весь замяте», но вскоре «замирися».

Воздействие литературы на общественную и политическую жизнь всегда трудноучитываемое. Но можно все-таки предполагать, что оно было немалым и в Древней Руси вообще, и особенно в тяжелейшие годы монголо-татарского ига. Осуждения в письменных произведениях страшились, похвал добивались. Значение литературы в исторической жизни русского народа становилось все выше, а ее отрезвляющий моральный голос звучал все увереннее.

Если можно говорить об идеологической направленности литературного стиля, то теперь эта направленность приобретала все более четкие очертания. Стиль монументального историзма, который раньше заставлял читателей подниматься над суетностью повседневной жизни, видеть жизнь с высот общечеловеческой истории и как бы с птичьего полета, теперь в эпоху нашествия и начавшегося ига направлен прежде всего на моральное оздоровление русского общества.

Литература этого периода как бы слилась с действительностью. Она может быть понята только в органической связи с трагическими событиями монголо-татарского нашествия. Рассказы об ужасах нашествия удесятелялись в силу своего воздействия на читателей именно потому, что в них не было вымысла. Читатели знали: это все было, и не только было, но продолжало существовать в своих последствиях. Погибли родные, погибли их односельчане и жители их города, продолжала гибнуть вся Русская земля. И, читая, каждый думал о своем, близком, родном ему. Историзм русской литературы, запрещающий рассказывать заведомый вымысел, стал в повествованиях о нашествии больше чем историзмом — он стал требованием писать только о том, что есть, что еще не ушло целиком в прошлое, что существует в своих последствиях и объясняет настоящее. Повести о монголо-татарском нашествии

вии воспринимались не как рассказы о прошедшем, а как сообщения о только что случившемся. Легенда о невидимом граде Китеже была рассказом о том, что теперь, сейчас существует где-то заветный град, не покорившийся врагу, в который могут войти те, кто чист сердцем, не примкнул к неправде. «Повесть о разорении Рязани Батыем» была не только простым рассказом о том, как погибла старая Рязань, как она запустела, но и объяснением этого запустения, а вместе с тем и воздаянием должного памяти ее защитников... Именно поэтому она заканчивалась «Похвалой роду рязанских князей» — как бы светской им «вечной памятью». Писатели «плели» в своих произведениях мученические венки погибшим в сражениях на поле брани и при защите городов, уведенным в полон, убитым в Орде, скрывшимся в невидимом Китеже.

Стиль литературы середины XIII — первой половины XIV века не имел резко выраженных особых черт в своей словесной форме, но все же если бы потребовалось его особое определение по своему содержанию, то монументализм древней русской литературы этого времени мог бы быть условно назван монументализмом нравственным.

Литература этого периода решала вопросы, касавшиеся всех и каждого. События были огромны, и моральные проблемы выступали на первый план, при этом в громадных охватах: как вести себя всем князьям, всему войску, всему населению города или сельских местностей. Нравственные проблемы охватывали не только отдельных людей, а всех в целом, в совокупности. И хотя жизнь заставляла прибегать к компромиссам, литература учила только бескомпромиссности, и только в решительном отказе склонить голову перед врагом видела правый пример для остальных.

Вот почему именно в это время, в XIII и XIV веках, получили особенное распространение сочинения по всемирной истории, описания вселенной, животного и растительного царств. Судьба народа — своего собственного и всех народов мира, всей вселенной — интересовала читателей в этот период с особенной остротой.

Нравственный монументализм был содержанием произведений середины XIII — первой половины XIV века, но в известной мере он коснулся и их формы. Экспрессивность сжатого и лаконичного изложения, столь типичная для многих произведений древнерусской литературы, достигла в это время исключительной силы.

Лучшие произведения этой поры очень невелики по объему, точно их авторам нет времени заниматься многописанием, но они огромны по охватываемому ими простран-

ству. Все они своеобразные реквиемы, за которыми, однако, стоит величайшая жизнеутверждающая сила, вера в жизнь, не страшаясь смерти, убежденность в бессмертии правды и неизбежности победы над врагами.

Учительный и патриотический характер русской литературы, ее нравственная бескомпромиссность определились в XIII—XIV веках с полной отчетливостью и сохранились в русской литературе до нового времени включительно, став одной из важнейших национальных черт русской литературы в ее целом.